

Николай Никандрович Никандров

Проклятые зажигалки!

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Н63

Н63 **Николай Никандрович Никандров**
Проклятые зажигалки! / Николай Никандрович Никандров – М.: Книга
по Требованию, 2012. – 62 с.

ISBN 978-5-4241-2886-8

Творчество Н.Никандрова не укладывается в привычные рамки. Грубостью, шаржированностью образов он взрывал изысканную атмосферу Серебряного века. Экспрессивные элементы в его стиле возникли задолго до появления экспрессионизма как литературного направления. Бескомпромиссность, жесткость, нелицеприятность его критики звучала диссонансом даже в острых спорах 20-х годов. А беспощадное осмеяние демагогии, ханжества, лицемерия, бездушности советской системы были осмотрительно приостановлены бдительной цензурой последующих десятилетий.

ISBN 978-5-4241-2886-8

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Никандров Н
Проклятые зажигалки !

Н. Никандров
ПРОКЛЯТЫЕ ЗАЖИГАЛКИ!

I.

Хлеб быстро дорожал... Зажигалки быстро дешевели... Кто вчера делал, например, 8 зажигалок, тот сегодня, чтобы прокормить семейство, должен был успеть сделать по крайней мере 10 штук... Кто не успевал, кто отставал, тот умирал голодной смертью на панели...

И все-таки, на зажигалках, как ни на чем другом, однажды можно прекрасно нажиться!.. Нужен только случай, нужно только не бросать этого дела, терпеть, ждать, стараться больше работать...

Разгоряченный такими думами, подстегнутый ими, как кнутом, старый заводской рабочий, токарь по металлу, Афанасий, вдруг вскочил в потемках с постели, наярился, согнулся, захрипел, как нападающий зверь, затопал босыми ногами от кровати к станку, прыгающей рукой зажег бензиновый светильник, в минуту обулся, оделся, ополоснул холодной водой небритое, в седой щетине лицо и, хотя было всего три часа ночи, дрожа от нетерпения, принялся за работу.

Он торопился!

Привычной ощупью он захватил в темном углу комнаты длинную медную желто-зеленую трубку, похожую на камышину, выпрямил ее в руках о колено, зажал в тиски и распиливал острой ножовкой на одинаковые, маленькие, с мизинец колбаски.

- Вгы-вгы-вгы... - издавала твердый, дрожащий, упирающийся звук крепкая медь, раздираемая еще более крепкими зубьями стальной ножовки. Иек-иек-иек... в то же время откликалось что-то внутри усердно работающего мастера.

И падающие из-под ножовки колбаски, эти медные, полые внутри цилиндрики, эти толстенные, коротенькие, желто-зеленые мундштучки, являлись главными основаниями будущих зажигалок, их корпусами, резервуариками для бензина.

- Вчерашний день Марья вынесла на базар десяток зажигалок, а едва хватило на обед, - с тревожно выпученными глазами соображал за работой Афанасий. - Стало быть, нынче придется выгнать 12 штук.

Однако, отрезав 12 колбасок, Афанасий, как всегда, не смог остановиться на назначенном числе и отпилел еще три трубки лишних.

Где будут сработаны 12 зажигалок, там незаметно пройдут и эти три, а между тем они тоже принесут кое-что дому!

Под станком, на полу, в тени, виднелся широкий низкий ящик с разным металлическим материалом. Афанасий, не глядя, запустил туда руку, достал оттуда пластину толстой позеленевшей меди, повертел ее в руках, осмотрел с обеих сторон, как покупатель на толчке осматривают подошвенную кожу, затем приступил к вытачиванию из нее на токарном станке верхних и нижних донышек для зажигалок.

Нагорбленно согнувшись над токарным станком и не спуская пристальных, математически точных глаз с меди, Афанасий стоял и вертел ногой колесо. Впереди него, на особой, прикрепленной к стене полочке, ярко горел самодельный бензиновый светильник, бурая пивная бутылка с проткнутой сквозь пробку трубкой из красной меди, крестообразно выпускающей из своей вершины четыре узеньких язычка пламени, вместе образующих как бы чашечку белого,

необычайно нежного цветка. И на противоположной стене комнаты, как на белом экране, отражался громадный, черный, наклоненный вперед и непрерывно кланяющийся профиль старого мастера: его большая, со всклокоченными со сна волосами, немножко безумная голова; странно-тонкая, цыплячья шея под ней; широкий, русский, на конце вздернутый, наподобие хобота, нос в очках; постариковски вечно разинутый рот с отвисающей нижней челюстью; тощая, болтающаяся, как собачий хвост, борода...

Ветхое колесо старого самодельного станка вихляло из стороны в сторону, зацепало за раму, скрипело; весь станок дрожал, гудел; обрезаемая медь сопротивлялась, дерябилась, зудела, иногда неприятно-скользко взвизгивала.

- Жжж... - среди глубокой ночи, среди спящего города, наполняла квартиру ровным, непрерывным, крутящимся жужжанием своеобразная машина маленькой домашней фабрики. - Жжж...

Вскоре в смежной комнате раздались громкие проклятия.

- Чтоб ты пропал со своими зажигалками! - всей своей утробой вопила оттуда, из-за запертой двери, спавшая там Марья, жена Афанасия. - Среди ночи поднялся! Среди ночи!

- Когда я пропаду, тогда и вы пропадете! - с суровым спокойствием хрипло отвечал Афанасий, направив сосредоточенное лицо в седых колочках и белесоблестящих очках на запертую дверь и продолжая с прежней размеренностью кособоко вихлять ногой колесо. - Жжж... Собаки вы, собаки! взмотнул он на дверь палкообразной бородой. - А для кого же работаю? Для кого я жизнь свою убиваю? Для меня, для одного хватило бы на день и трех-четырёх зажигалок! Жжж...

Наконец, 15 верхних и 15 нижних доньшек, 30 толстых медных монеток были готовы, и Афанасий, натужно посапывая, сверлил в них дырочки: в нижних - для винтика-пробочки от бензина, в верхних - для пропускания трубочки ниппеля, сквозь которую в свою очередь пройдет асбестовый фитилек. А когда и это было окончено и монетки стали походить на пуговички с одной широкой дырочкой по середине, Афанасий распахнул на двор дверь, взял за ушки самодельную круглую железную жаровню-мангалку, на четырех высоких, хищно раскоряченных и согнутых в коленях ножках, похожую на противного гигантского паука, и вышел с ней, кряхтя, наружу.

Дверь некоторое время оставалась раскрытой, и в душную, сырую комнату, с прогнившим полом и прокопченным потолком, как в подземный погреб, вдруг резко потянуло со двора приятной ночной свежестью, свободой, широкими просторами, далью, иной жизнью, хорошими достатками, несбывшимися мечтами, ушедшей молодостью, былым здоровьем, вечно дразнящим счастьем!

На дворе было тихо, темно, прохладно.

Афанасий прислушался. Ниоткуда не доносилось ни малейшего звука. Весь город спал. И старому мастеру сделалось безмерно грустно. Неужели он один не спал? Неужели он один работал? Неужели он один так беспокоился за завтрашний день? А как же живут другие?

Невольно поднял Афанасий голову и глаза вверх, и сердце его сжалось еще более острой тоской.

Оттуда, с далекого черного матового неба, с редкими фиолетовыми ворсинками, на него пристально смотрели вниз, как сквозь пробуравленные дырочки в потолке, ясные, белые, по-осеннему холодные, маленькие звезды. Пожалуй, еще

никогда не видал Афанасий таких мелких звезд. Их было великое множество, и они смотрели с неба на землю с таким выражением и так при этом мигали своими длинными ресницами, все вразброд, словно отсчитывали оттуда суетному человеку его короткий век.

- Ну, пожалуй, еще крошечку поживи... - со всех сторон, со всего небосвода замигали они на Афанасия своим неумирающим извечным миганием. Ну, и еще немного... Секунду! Пол-се-кун-ды!

Афанасий сиротливо и зябко вздрогнул. Когда-нибудь ему надо глубоко и серьезно подумать об этом: о жизни, о смерти...

Но уже на дворе, в темноте, возле дверей, вспыхнул желтый, густо чадающий огонек зажигалки; в мангалке весело затрещала, застреляла и заблагоухала, как ладан, сухая, смолистая, сосновая щепка; жарко охватились синими и красными язычками пламени и тоненько запели, зазвенели, корежась и переворачиваясь в огне, древесные уголья; узенький дворик, заваленный вдоль высоких заборов старым ржавым железным хламом, весь озарился странным фантастическим колеблющимся светом, и черная, взъерошенная, в очках, фигура Афанасия, таинственно хлопочущая возле польхающего огня, была похожа в этот час на колдуна, одиноко варившего на жаровне под покровом глухой ночи свои могущественные зелья.

Когда все уголья в мангалке обратились в одну сплошную красную огненную массу, Афанасий подхватил мангалку за ушки, отвернул наморщенное лицо от жара вбок, вбежал с мангалкой в мастерскую, как вбегают с кипящим самоваром в столовую, поставил ее на пол, воткнул глубоко в жар паяльник, потом, через две-три минуты вынув его оттуда с красным, язвенно-воспаленным концом, начал быстро впаивать в каждый корпус по два доньшка, - одно верхнее, одно нижнее. Когда конец паяльника чернел, он опять зарывал его в красный жар.

На лице старого рабочего-металлиста, сидящего на табурете с паяльником в одной руке, с медной трубкой в другой, были написаны усердие, выдержка, уверенность в себе, торжество, любованье своей работой и сдержанный восторг перед собственным мастерством. И из его крепких, верных, давно прометаллических рук, работающих с правильностью стальных рычагов машины, уже выходили на божий свет, странно веселя глаз, первые подобия зажигалок, их зародыши, их младенчики, еще бесформенные, голые, гладкие, очень далекие от эффектно-сложного вида готовых зажигалок, как червеобразные гусеницы далеки от вида элегантно-крылатых бабочек.

Чтобы даром не пропадал хороший жар, Афанасий, по обыкновению, еще в самом начале поставил на мангалку громадный закопченный жестяной чайник с водой для утреннего чая. И теперь вода, нагреваясь, вздрагивала, стучалась в жестяные стенки чайника, пукала, потом, обрываясь и меняя один на другой тон, смелее и смелее затянула, в подражание самовару, бесконечную, заунывную, в две-три ноты, калмыцко-русскую песенку.

Оттого, что работа у мастера ладилась хорошо, время летело для него незаметно. И вскоре он услышал, как на всем пространстве города и дальше за городом изо всей мочи загорланили петухи. Они так старались, эти глупые домашние птицы, так надрывались, что по их крику живо представлялось, как они при этом становились на цыпочки, задирали головы, надувались.

В пении петухов вообще содержится что-то необычайно дутое, напыщенное,

излишне-торжественное, как в парадном выходе к народу короля, в смешной короне, в неудобной мантии; но вместе с тем в этом пении, несомненно, звучит и что-то ребяческое, простое, глупое, очень здоровое и нужное для земли, принимающее жизнь такую, какая она есть. И Афанасий, едва закричали первые петухи, сразу почувствовал, как от его груди отлегла какая-то большая смутная тяжесть. Теперь-то он не одинок!

Он бросил на стол медь, инструмент, расправил спину, руки, размял в воздухе пальцы, отсунул выше бровей на лоб очки и довольным взглядом обвел всю свою сегодняшнюю работу: много ли сделано до петухов?

- Данька!.. - затем приступил он к самой неприятной своей ежедневной обязанности - будить на работу своего взрослого сына, тоже токаря по металлу, спавшего в этой же комнате, у дальней стены. - Дань, а Дань! грубовато и вместе по-отцовски нежно окликал он единственного своего сына, свою надежду. - Слышь!.. Вставай!.. Уже пора!.. Светает!..

И он направил издали на лицо сына широкий сноп ослепительно белого света светильника.

П.

Данила не шевелился, не отзывался.

Здоровенный малый, с давно нестриженными желтыми волосами, веером закрывавшими весь его лоб, и с первыми светлыми кучерявыми бачками на щеках, он лежал на боку, лицом к свету светильника, подложив под одну щеку кисти обеих рук, и могуче дышал через раздувавшиеся ноздри.

В противоположность отцу, в эти предрассветные часы ему спалось особенно хорошо!

Вечерами он поздно засиживался в студии местного союза художников. С некоторых пор он очень усердно занимался там живописью. Он был необыкновенный человек. Кроме нечеловеческой силы, кроме железного здоровья, природа дала ему еще много и других талантов, в которых он долгое время никак не мог разобраться. Казалось, стоило этому чудо-богатырю встряхнуться, как с него посыплется на землю таланты. Даниле это было даже самому смешно, ему невольно припоминалась соблазнявшая его в детстве вывеска одной кондитерской, изображавшая опрокинутый рог изобилия, из широкого раструба которого без конца сыпались разноцветные пирожные, вотрушки с изюмом, крендели. Точно так же глаза его разбегались и теперь, при обнаружении у себя всевозможных талантов, и он не знал, за какой из них ухватиться: все были соблазнительно хороши. И с самоуверенностью молодости набрасываясь то на одну бесплатную студию при наробразе, то на другую, он за четыре года советской власти чуть-чуть не сделался сперва знаменитым оперным певцом, таким, как Собинов, потом известным писателем, таким, как Максим Горький, чемпионом мира по поднятию тяжестей и борьбе, как Поддубный, политическим оратором, драматическим актером... В самое последнее время одна отзывчивая дама, художница, совершенно случайно открыла в нем новое дарование, подлинный талант к живописи и притом такой, какие рождаются по одному в столетие. Чтобы не ошибиться, она водила его показывать от одного специалиста к другому, как больного тяжелой болезнью водят от доктора к доктору, и Данила видел, какое он производил на всех впечатление своими набросками карандашом с натуры. И он тогда же разна-всегда решил, что все предыдущие его увлечения и успехи были ошибками,

поисками себя, и что настоящее его призвание именно тут и только тут, - в живописи. И на улице, на которой он родился, вырос и жил, теперь его иначе не называли, как "Второй Репин", как раньше титуловали "Второй Максим Горький", "Второй Собинов", "Второй Поддубный"...

Отец постоял над Данилой, посмотрел на его исполинскую фигуру, не умежавшуюся на постели, на красную, полную, лоснящуюся физиономию, утопавшую в подушке, на жирную шею, собравшуюся на затылке складками, вслушался в его шумное, здоровое, беспечное, жадное до жизни дыхание, очень родственное тому пению петухов, - и чувство зависти к сыну зашевелилось в нем.

- Вот что значит не иметь ничего в голове!.. - подумал он, с желчной улыбкой на искривленных губах. - Ну, разве это человек?.. Разве он когда-нибудь думает об зажигаках?..

Он запустил под туловище сына сразу с обеих сторон руки и так защекотал его под бока, с такими гримасами, точно старался ухватить на дне реки рака, яростно оборонявшегося в илистой норе под корягой.

- Ну!.. - кряхтел он при этом ему в грудь. - "Второй Репкин"!.. Подымайсь!.. А-а, ты не встанешь?.. Говори: не встанешь?..

Данила вертелся на жесткой постели, как червяк на гладком камне, тщетно ища носом, куда бы зарыться. Но ни глазных век, ни рта он не разжимал, очевидно, продолжая крепко спать.

- Нет, врешь, собачья душа! - пропыхтел окончательно взбешенный Афанасий. - Спать больше я тебе все равно не дам!

Он обхватил сына, прижался одной щекой к его груди, отодрал его туловище от постели, приподнял его всего на воздух и, как большую куклу, усадил на край кровати.

Данила, сильно сутулясь, в буром от грязи белье сидел со свешенными в пол громадными босыми ногами и, чуточку раскрыв глазные веки, долго и безучастно смотрел на отца.

- Ммуу... - наконец, недовольно промычал он и судорожно зевнул, на момент превратив все свое лицо в один громадный темный кругло разверстый рот, окаймленный изнутри кольцом белых зубов. - Еще совсем темно, простонал он и туго, как бык, перевел тяжелые глаза на черный квадрат окна, потом опустил голову и со сладострастным выражением лица начал расчесывать в кровь правой рукой левую ногу у шиколотки. Хрусс-хрусс-хрусс... - безжалостно скреб он ногтями кожу ноги, сладко зажмурил глаза. - Хрусс-хрусс-хрусс...

- Заспался, вот и показывается, что темно, - подбадривал его отец. А так-то оно не темно: самая зорька.

И, поглядывая за сыном, чтобы тот снова не растянулся на постели, он пошел к станку.

- Да... как же... "показывается"... "зорька"... - как ребенок, капризно огрызался низким ворчливым баском сын, а сам с возрастающим упоением скоблил и скоблил ногу: - Хрусс-хрусс-хрусс... Где она твоя "зорька"?.. Теперь самое спать!..

- Тебе бы все спать!.. - попрекал его отец, откладывая для него на отдельный стол работу. - А как же я?.. Я еще меньше твоего сплю!.. Ты знаешь, когда я сегодня встал?..

- Знаю, знаю... Хрусс-хрусс... Ты кажется скоро вовсе не будешь ложиться

спать... Хрусс-хрусс... Но ты-то другое дело... Хрусс-хрусс... Ты-то сам виноват... Хрусс-хрусс...

- Как это "сам"?!

- А так сам... Не связывался бы с этими проклятыми зажигалками!.. Я давно говорю: давай, поступим обратно на завод... Там теперь и ставки больше и пайки выдают аккуратней...

- Знаем! - раздраженно бросил Афанасий, работая. - Слыхали! Пока вырабатывают новые ставки, цены на хлеб опять подсакивают вдвое! Тоже и пайки: пока их получишь, сапоги обобьешь, за ними ходивши! А допросы! А анкеты! А подписки, отписки, записки, расписки! Нет, на зажигалках работать все-таки лучше, самостоятельней, вроде как сам себе хозяин! И поднажиться опять же можно, если!

- Да... Хе-хе-хе... "Нажились" мы много... Хрусс-хрусс-хрусс...

- Ну! - вдруг злобно закричал на сына издали отец и уставился в него поверх очков остановившимися глазами. - Чего же ты сидишь, босые ноги скубешь? Вставай, время идет, не ждет, работать надо! А скубсти ноги будешь потом!

- Ладно, - пробормотал небрежно Данила, перестал чесать изрытую в кровь ногу, пошарил гигантской ладонью под кроватью и выволок оттуда ботинки.

- Да, "самостоятельней", "сам себе хозяин", чорт возьми! - криво усмехался он в пол и натаскивал на свои нечеловечески-широкие ступни еще более широкие американские боты, тяжелые и твердые, как чугунные утюги.

- Хорошая, чорт побери, наша "самостоятельность"! Хорошие мы "хозяева"! - зашнуровывал он толстым электрическим проводом свои боты с таким видом, точно запрягал пару ломовых лошадей. - При лампе начинаем работать, при лампе кончаем и на обед имеем не больше, как полчаса! А на завод ходили по гудку, когда уже развиднялось, и, как бы то ни было, работали там не только казенную работу, но и свою, - взять те же зажигалки, - и материалом свободно пользовались, и инструментом, и всем, и шабашили в 4 часа, когда солнце стояло еще высоко... На заводе я сроду не знал, что такое работа при лампе.

- Мало ли чего, - тряхнул полуседой головой Афанасий. - Ты еще много кой-чего не знаешь. - Ну, на!.. - клопочущим от раздражения голосом задавал он работу сыну. - Вот!.. - почти стонал он и смотрел на Данилу такими глазами, точно порывался схватить его за шиворот и хорошенько потыкать носом в работу.

- Бери сейчас вот эти корпуса и загирай на них шабором паянные места, чтобы нигде не было видно олова!.. Загирай!..

- И тут на твоих зажигалках, раз плонуть, погибнуть с голода... продолжал твердить свое Данила, уже стоя возле постели на ногах и туго затягивая на себе узеньким ремешком широкие холщевые рабочие штаны... а на заводе сроду не пропадешь: все-таки возле людей! На нашем заводе 6 тысяч человек работает!

- Хотя бы 36! - оборвал его отец. - Все равно, каждый думает только об себе!

- Ничего подобного! - фыркал Данила над ведром, ополаскивая лицо. - И там по крайней мере узнаешь, какие есть новости, а тут живешь у вас, как в тюрьме!

- Тебе нужны новости? Марья каждый день приносит с базара все новости!

- То не те.

- Одинаковые!

- И на заводе...

- Довольно про завод! - взвизгнул отец. - Он все про завод, он все про завод!
- с плачущим выражением лица пожаловался отец в сторону. - Я лучше твоего
знаю завод! Я больше как 30 лет на заводе лямку тянул! А ты меня учишь: "завод",
"завод".

Закатив оба рукава рабочей блузы, Данила, с широкой грудью, с громадным животом, картинный богатырь, лениво, в развалку, поплелся к токарному станку.

- Что работать? - недовольно прогнусавил он, хмурый со сна.

- Вот, - указал отец на отложенные в сторону медные корпуса. - И смотри: когда загрешь шабором паянные места, тогда зачищай наждаком медь, сплошь, всю, чтобы она прямо горела! Дело касается рынка, и покупатель кидается не на механизм зажигалки, не на правильность закалки ролика, а на чистоту, на блеск, на моду!

- Значит, уже будем обманывать народ? - иронически покривил губами Данила, сгребая по столу в кучу медные корпуса.

- Зачем обманывать? - ударил молотком по медяшке Афанасий. - Это не мы их обманываем! - и он прицелился и ударил опять. - Это они себя обманывают, держат фасон!

Данила все никак не мог раскататься, он упрямо стоял перед своим рабочим столом и, угнетаемый чувством ужасной лени, злыми глазами считал заготовленные отцом корпуса.

- Сколько сегодня будем гнать? - спросил он грубо, вызываяюще, гудящим голосом.

- 12 штук, - мягко и вкрадчиво ответил отец и с невинным лицом старательно наворачивал нарезной дощечкой резьбу на медной соломинке, через которую в зажигалке проходит фитилек.

- Как 12??? - с истерическим завыванием вскричал невыспавшийся Данила и упер в стол тупой, жестокий, разбойничий взгляд. - А тут у тебя 15!!!

- Да, правда, там еще три лишние есть... Для между делом...

- У-у-у! хорошее "между делом": целых три зажигалки! И тогда так бы и говорил, что 15! А то: "12"! Обманывает! И если бы это в первый раз, а то - всегда! Я нарочно раньше сосчитал, смотрю - 15, потом, думаю, дай спрошу, сколько скажет, а он: "12"! Что же ты думаешь, что я слепой, не вижу, что ли?

Афанасий швырнул инструмент, сделал обеими руками гневный жест.

- Довольно гудеть!!! Зачищай медь, сагана!!! За нас никто не будет работать!!!

Данила умолк, подернул плечами, кособоко нагорбился над столом, взял в одну руку цилиндрическую медяшку, в другую трехгранный шабор, начал работать.

У него все в груди кипело от отвращения к подобной работе. И он с таким остервенением хватал со стола медные трубки, так жестоко скоблил их ребром стального шабора и с такой силой швырял их потом о стол, словно это были его заклятые враги.

- Легче! - не раз покрикивал на него со своего места отец, следя за ним со стороны. - Легче! Это же вещь!

Данила некоторое время работал молча.

Наконец, он не выдержал собственного молчания.

- Что это, шахта, что ли, что мы работаем при лампе?! - вдруг яростно вобрал он голову в плечи и странно, точь-в-точь по-собачьи, оскалил издали на отца зубы. - Или это, может, мы на ночной смене работаем, и с утра тут будут работать другие?! На самом-то деле, отец! Пора нам в этом как следует разобраться! Люди боролись за 8 часовой рабочий день, а ты из меня по 16 часов жилы тянешь!

У ошеломленного отца нижняя челюсть задергалась, борода завилась в воздухе живой змейкой.

- Что-о? - в свою очередь ощерил он издали на сына полубеззубый рот и высоко задрал хобот носа в очках, так что темные круги ноздрей встали стоймя. - Я из тебя жилы тяну, я, да? Дурак ты, дурак! Жизнь тянет жилы из тебя, а не я! А я - что от тебя имею?

- Да!.. Как же!.. "Жизнь"... Бежать надо из дому от такой "жизни", и больше ничего!

И Данила злобно строганул шабором по трубке.

- И бежи! - замотал на него полуседой головой отец. - И бежи, сатана, бежи! Только смотри, когда выголодаешься, обратно не приходи: не приму!

- Подлец буду, если приду! Сам я больше заработаю!

- Попробуй! Заработай! Посмотрим, как ты зарабатываешь! Это тебе не студия: розочки в вазочках, будь они прокляты, рисовать! "Вто-о-рой Реп-кин"! Разве я знал, что у меня, у рабочего, выйдет такой сын? "Ху-у-дож-ник", чтоб тебе добра не было и тем, кто тебя научает этому!

Данила бросил работу, с ушибленным видом сощурился на отца.

- Кого ты ругаешь? - тонким певучим голосом прокричал он. - За что ты ругаешь? - взял он голосом еще тоньше. - Ты знаешь, кого, каких хороших людей, ты ругаешь?

- В-вы!!! - надрывно взвыла всей грудью с постели за запертой дверью Марья. - Оп-пять!!! Я только что заснула! И так каждый день, каждый день, с тех пор, как стали работать эти проклятые зажигалки! Еще ни разу не становились на работу без бою, ни разу! Как собаки, как собаки! Лаютя и лаютя! Лаютя и лаютя, чтоб ваши глотки повысохли от этого лаю!

- Без скандала не могут! - жалобно завторила матери ее взрослая дочь Груня, спавшая там же, за дверью. - День спину гнешь над швейной машиной, стараясь как можно больше выгнать красноармейского белья, пока глаза и пальцы не затупеют, и ночью только бы отдохнуть, только бы поспать, а тут они со своими проклятыми зажигалками тарарам поднимают!

- А ты бы меньше вечерами по люzioniам моталась, - съязвила вездливым голосом мать. - Вчера опять во втором часу ночи откуда-то заявилась!

- Как это так "откуда-то"! - страшно вскипела дочь. - Разве я у вас какая-нибудь такая! Чего же вы меня обзываете! Чего же вы меня стромотите! Какое вы имеете право меня обзывать! Какое вы имеете право меня стромотить! Что я - уличная?!

- Кто тебя обзывает? Никто тебя не обзывает! Ма-ла-холь-ная!

- Вы! Вы меня обзываете! Вы!

Груня дико взвизгнула и заплакала.

Мать сбавила тон.